



Тамара Александровна родилась 18 января 1934 года в г. Ельня Смоленской области в семье военнослужащего, офицера НКВД. Семья матери, Марии Журавлёвой, была раскулачена (дед десять лет отсидел на Соловках), но Мария через рабфак окончила пединститут в Ленинграде.

Война застала семью на западной границе. Отец посадил жену и двоих детей в последний эшелон, а сам попал в плен под Киевом, бежал, был отправлен в штрафбат и погиб в 1943 году под Днепротетровском. Тамара с матерью и маленьким братом добрались до Мелекесса, где жила бабушка. В 1947 году семья переехала в Ульяновск. Тамара окончила школу № 7 им. Кашкадамовой и дошкольное педагогическое училище, в 1958 году – Ульяновский пединститут. Занималась хореографией, спортом, была чемпионкой области по бегу на коньках. Работала заведующей детским садом на Ново-Уренской с/х опытной станции, где её муж был главным зоотехником, в начальной школе № 9 г. Ульяновска. В 1962 году прошла по конкурсу на должность ассистента режиссёра ульяновской студии телевидения. Работала с лучшим режиссёром студии Ю.А. Ершовым, который добился, чтобы Тамара Александровна стала режиссёром. Долгие годы работала в музыкально-драматической редакции, стала признанным профессионалом. Имеет много благодарностей и наград, в том числе от Центрального телевидения СССР. Уйдя на заслуженный отдых, участвовала (по приглашению Ю.Н. Старостина) в становлении и работе телеканалов «Репортёр» и «Арсенал».

Мгновения судьбы

Писатель и журналист Геннадий Дёмочкин записал семнадцать монологов-новелл Тамары Бунич из жизни, вместившей главные события советского XX века: раскулачивание, репрессии, война, эвакуация, Победа, оттепель, мирный творческий труд... Зарубки на память. Публикуем несколько новелл из серии «Семнадцать мгновений судьбы».

Широка страна моя родная

У моих дедушки с бабушкой по маминной линии (они жили в селе Тазино Пензенской губернии) было трое детей: моя мама и два её брата. Бабушка была из бедной семьи (десять человек детей), а дед из зажиточной. Когда они поженились, стали жить хорошо. До того момента, как началась коллективизация. Деда арестовали, отправили на Соловки. А бабушке шепнули: «Ночью вас вырежут. Если хочешь спасти себя и ребят, бросайте всё и уезжайте». Моей маме было тогда лет 14, дяде Пете и дяде Васе примерно по 16. И они «рассыпались» по стране. Бабушка мне потом, уже взрослой, говорила: «Знаешь, Томочка, в жизни бывает так страшно, что до Средней Азии добежишь».

Бабушка уехала в Ташкент, но там ей показалось неуютно (она была белокожая, высокая, под два метра, узбеки ей проходу не давали), и она вернулась в Россию, добралась до городка Мелекесс в Поволжье и даже купила там домик. Дети её все были способные, через рабфаки получили высшее образование. Мой дядя Вася окончил Тимирязевскую академию, дядя Петя – Московский университет, а мама – Герценовский педагогический в Ленинграде. Дядя Петя преподавал в Уфе, в пединституте, и ещё перед войной, совсем молодым, внезапно умер. Дядя Вася после академии был направлен агрономом в совхоз под Вольском Саратовской области. В конце 1930-х всё начальство совхоза было арестовано, в том числе и дядя Вася. Он попал на Лубянку, там его били, закрывали в боксе, где нельзя было сесть – повсюду торчали железные шипы. Потом его выпусти-



Дедушка
Алексей Тимофеевич Журавлёв

ли, оправдали, он прошёл всю войну, вернулся раненый, обожжённый и до конца жизни работал в Вольске. Когда я училась на первом курсе пединститута, он приезжал в Ульяновск, мы вместе с ним сходили в магазин, он подарил мне золотые часы. По тем временам это был царский подарок.

К бабушке в Мелекесс меня возили перед войной, совсем ещё маленькой, но кое-что я помню...

«Папа заплатит»

Мой папа, Александр Григорьевич Шепельков, рано остался без родителей. Был сыном полка, а к тому



времени, как в Ленинграде познакомился с моей мамой, – уже офицером НКВД. Отец был просто красавец, я помню его в форме и в фуражке с синим околышем. Жили мы уже в Москве, в военном городке в районе Измайлово (несколько пятиэтажных домов за забором и контрольно-пропускной пункт). Я росла шустрой, ничего не боялась. Могла прошмыгнуть через КПП, дойти до будки с мороженым. Денег не было, но я говорила продавщице: «Вот папа будет возвращаться со службы, он за меня заплатит». И папа платил. А куда ему было деваться?

Потом папу перевели на самую западную границу. Мама считала, что таким образом его спасли от репрессий. Мы жили на заставе, в лесу (семья была только одна, наша). Помню, папа между двух больших деревьев на краю оврага сделал качели на длинных ремнях. Раскачивал меня, и я зависала почти над пропастью. У мамы обмирало сердце, а мне было весело.

За несколько дней до начала войны нас перевели в Житомир. Его бомбили в самые первые часы. Мы ничего сначала не поняли: думали – землетрясение. В доме всё дрожало. За отцом сразу приехал посыльный и увёз его. В городе говорили: «Это диверсия, шпионы». Нам, детям, это было интересно. Над городом, как чёрная туча, пролетела армада самолётов. И вот приезжает отец на мотоцикле, в полевой форме, весь грязный, и говорит: «Ничего не брать. Только сумку с документами».

Мама взяла на руки моего брата Шурика (ему было полтора года), мы сели к отцу в мотоцикл, в люльку, и приехали на вокзал. Он был оцеплен, гражданских туда не пускали. Военные носили какие-то ящики, грузили раненых. Папа посадил нас на поезд (это был последний эшелон) и дал нам бойца, совсем ещё мальчика: «Довезёшь их до Москвы».

Больше мы папу никогда не видели. Он был ранен под Киевом и попал в плен. Когда наши его освободили, был разжалован и отправлен в штрафной батальон. Погиб в 1943 году под Днепропетровском. У нас есть похоронка, указана даже высота, под которой он погиб. Он был в заградотряде. В общем, судьба жуткая. Ему было всего 28 лет...



С мамой, уже после войны

Костёл и подкова

В Киеве вокзал бомбили. Наш эшелон был расформирован, и мы с другими беженцами ехали в вагоне без крыши. Народ был разный: украинцы, русские, поляки, евреи. Самолёты, провожавшие наш эшелон до Фастова, улетели, а немецкие, заходя бесконечно, на бреющем полёте расстреливали людей. По-моему, я даже видела лётчика в чёрных очках...

Было очень тесно. Один старик в вагоне очень громко кричал. Наверное, он сошёл с ума, его выбросили в открытые двери. Когда эшелон бомбили, поезд останавливался, люди бежали в степь, в хлебные поля, в лес, лишь бы выбраться из этого ада. Возвращались уже не все.

На станциях местные жители выносили картошку, молоко, воду, хлеб. Отдавали бесплатно – кто что мог. Москва была уже перекрыта, мы направлялись к Сталинграду. Сидели на полу, никаких лавок и нар не было. Нешадно палило солнце, шли дожди и даже град – скрыться было невозможно. Рядом с нами, прижавшись друг к другу, сидели поляки, молодая пара, муж с женой. Женщина пристраивала на плече мужа маленькую чёрную думочку и клала на неё свою голову, а он держал зонтик. Они всё время были перед моими глазами, я рассмотрела, что на думке в подкове с цветами был вышит костёл. Глядя на них, я говорила: «Мама, какие они счастливые, у них есть зонтик!» Но однажды, после очередного авиа-

налёта, когда все убежали в степь, они не вернулись, видимо, погибли.

Поезд починили, он пошёл дальше. Остались только думочка и зонтик. Мы их взяли себе. Подушечка потом ещё долго жила в нашей семье. А зонтик висел на гвоздике – тогда не принято было ходить с зонтами.

На окраине Сталинграда эвакуированных разместили в мазанках с земляными полами. Всех переписывали и определяли, кто где будет работать. Кормили на улице за большими, сколоченными из пахучих досок столами. Маме сказали, что она будет работать в местной школе. Но она рвалась в Мелекесс, где жила бабушка.

За разрешением мы с мамой ходили в Сталинград, и вот мы уже на палубе парохода – идём в Ульяновск. Пароход был набит битком, мы лежали вповалку на открытой палубе. Когда выгружались, в этом столпотворении мама меня чуть не потеряла: я исчезла среди каких-то баулов. Как она закричала... Даже потеряла сознание.

Потом на поезде, через волжский мост, мы доехали до Мелекесса.

Мама и «медведь»

В Мелекессе на вокзале нас погрузили в подводы: одна, вторая, целый обоз. Женщины и дети. Едем по улице III Интернационала, останавливаемся возле одного дома. Кричат, например: «Морозова! Пелагея!» Выходит из ворот хозяйка, к ней с подводы идёт женщина с детьми. Люди

уже знали, что их уплотняют, и ждали беженцев – отказаться было нельзя. И вот мы у дома бабушки. Ей кричат: «Прасковья Ефимовна, к тебе Мария с внуками!» Никто не появляется. Мы сходим с подводы, идём к дому: я, мама, Шурик... Входим в дом, всё открыто. На столе – самовар пыхтит (я впервые увидела самовар). На полках и этажерке – вышитые салфеточки, большой фикус. На столе стоит большая тарелка, полная лесной клубники. И такой от неё запах... Я сейчас, в память о том дне, провожу в своей семье день клубники.

И тут влетела бабушка – она была на огороде и не слышала, как мы приехали. Она нас уже давно ждала, знала, что мама рвётся в Мелекесс, ходила встречать поезда и вот не уследила...

Всю войну мы прожили у бабушки. После всего, на что мы насмотрелись, Мелекесс – это был такой тыл... На вокзале и в парке мороженое продают, фонари горят, музыка играет. В домах, правда, света не было. У бабушки висела керосиновая лампа под абажуром. Мы не голодали. У бабушки был огород: картошка, овощи. Из леса приносили грибы, ягоды, орехи. Была коза, пили козье молоко. Бабушка на огороде сеяла просо.

Мама поступила на службу в госпиталь. Ходила в военной форме, была и медсестрой, и кастеляншей, и зав. столовой, и зав. клубом. Я, конечно, пропадала там. Мне нравилось общаться с бойцами. Они мне что-то рисовали, угощали «эликсиром здоровья»: шиповником, заваренным в большом чайнике. Потом мы стали выступать с концертами: пели песни, читали стихи, танцевали, делали пирамиды. Меня поднимали в ласточке – самая лёгкая, наверное, была.

Помню, спускаясь по лестнице чёрного хода, увидела, как в титане сжигали ампутированные ноги, руки. Рядом сидела пожилая санитарочка и тихо пела какую-то песню.

Мама и её коллеги хоть и работали днями и ночами, ещё и успевали ставить спектакли. Среди раненых был артист МХАТа. Помню маму в спектакле «Медведь» по Чехову. Мхатовец был её партнёром.

Чашка в серванте

В госпитале мама познакомилась с раненым, который в дальнейшем стал моим отчимом. Зва-

ли его Павел Львович Гойхман. Он был на десять лет младше мамы, но всю жизнь нежно её любил. То, что у мамы двое детей, его не смущало, к нам с Шуриком относился очень хорошо. А мама поначалу очень стеснялась. Когда они ходили в кино, она ему говорила: «Свет погаснет, тогда можешь сесть рядом».

Он учился в Днепропетровске, в железнодорожном институте. С последнего курса был взят на фронт, был ранен, попал в Мелекесс. С моим отчимом, которого мы стали звать папой, связана потрясающая история. Он из Симферополя, из интеллигентной еврейской семьи врачей. Одна сестра Павла училась в местном мединституте, другая – в восьмом классе, а он – в Днепропетровске. Когда началась война, им предлагали эвакуироваться, но уехать они не могли: у них была старая больная бабушка. И вот город оккупировали немцы. В тот страшный день им было предложено явиться в здание медицинского института. Когда они прошли через двор, отец Павла Львовича протянул соседке узелок со словами: «Если вернётся Павлуша, передайте ему эту посылку». Соседка была крымской татаркой, муж у неё был на фронте и там погиб.

Вся семья Гойхманов вместе с другими евреями была расстреляна и взорвана в здании мединститута.

После войны, когда мы уже жили в Ульяновске, отчим один раз возил нас в Симферополь. Он обошёл соседей, узнал подробности гибели своих родителей, бабушки и двух сестёр... И сказал: «Я в этот город уже не вернусь». В Крым он больше никогда не ездил. А в Ульяновск нам вдруг пришло письмо. Пишет та самая татарская семья. Им кто-то передал, что «Павлуша приезжал в Симферополь, он живёт в Ульяновске». А потом нам пришла посылка из Казахстана... Эту женщину с детьми, как и всех крымских татар, тогда выслали, на сборы дали всего несколько часов и разрешили взять с собой только самое необходимое. Но они взяли этот свёрток, сохранили его, пройдя через все мытарства. И вот переслали эту посылку нам. Там было: шесть фарфоровых чашек с блюдцами – старинные японские чашечки, отрез сукна на пальто (Павлик должен был окончить институт и сшить себе новое пальто), коробка домино, кото-



Семейный снимок семьи Гойхманов и та самая чашка

рую Павел купил отцу на первую стипендию, и две накидушки (на подушки) – одна с голубой, другая с розовой ленточкой...

Я всю жизнь восхищаюсь поступком этой женщины и глубоко ей благодарна. Одна из этих чашек хранится у меня в серванте. Я оставляю её своей дочери и внукам, пусть передают дальше...

Скрипка и немножко больно

Всегда с удовольствием вспоминаю Мелекесс. Пользовалась любой возможностью снова туда съездить... Он такой родной, такой тёплый. Город моего детства. Таким он казался красивым. Эти сосны до неба, жёлтые пески... Ходили за подснежниками на ту горку, где теперь соцгород. Черемшан... Бахчи... Кучей сложены маленькие арбузики. Сидел какой-то дед (как на картинах рисовали и в фильмах снимали – так оно и было). Он сидит с палочкой, шалаш у него какой-то. А мы гурьбой идём, и он угощает нас этими арбузами. Они хоть и маленькие, но красные и очень сладкие...

Здесь я пошла в школу (в руках у меня была сумочка, сшитая из старой гимнастёрки), пошла и в музыкальную школу, правда, с музыкой ничего не получилось. Эвакуированная из Польши Мария Здравена была очень строгая, я шла на урок, как на голгофу. Зато в балетном классе, который вела актриса Мариинского, а тогда Кировского театра Нина Ива-



новна Маркова, я делала успехи. После освобождения Ленинграда от блокады Нина Ивановна стала собираться домой и пригласила в хореографическое училище трёх девочек, в том числе и меня. Но мамы нас, конечно, не пустили...

В Мелекесе было много ссыльных (ещё с 30-х годов), а потом – эвакуированных. Когда я перебралась жить в Ульяновск, мне он показался тёмным и скучным – такой публики, как в Мелекесе, здесь не было.

Наш отчим Павел Львович выписался из госпиталя, его отправляли куда-то в Свердловск, а потом он вернулся к маме и к нам. Мы стали жить одной семьёй, он поступил на работу на фабрику имени Клары Цеткин. Он был замечательным человеком, добрым, внимательным. Мы никогда не слышали от него грубого слова. Когда мне исполнилось 10 лет (январь 1944-го), он пригласил к нам в дом скрипача (из эвакуированных). В этой мелекесской избе, в войну, звучала скрипка! Это было так здорово...

Несколько лет назад мы с Яшей отмечали 60-летие совместной жизни. И в память о том моём дне рождения я пригласила ребят из симфонического оркестра, там тоже были скрипки...

Счастье на всю жизнь

На Яшу я положила глаз во Дворце книги. Там в огромном читальном зале, обложившись книжками, мы проводили уйму времени. В моей компании был Миша Егоров, замечательный мальчик, который очень хорошо пел. И с ним пел Яша – они уже тогда, в школьные годы, были знаменитыми ульяновскими певцами. Девчонки за ними бегали. На 7 ноября Миша пришёл к нам и пригласил меня к себе. Мама меня отпустила. И там я встретила Яшу. Они снова пели, я была совершенно очарована, и Яша пошёл меня провожать... Прихожу домой, бабушка моя в панике, говорит: «Отец с матерью пошли к Мише тебя искать. Давай быстро в постель!» А мама с отцом пришли к Мише, он с полотенцем на голове: «А Тома ушла...» – «Как ушла?! Ты её увёл, ты дома, а Тома где?» – «Она ушла с Яшей Буничем, это мой лучший друг». Родители вернулись, меня ругали и объявили, что 18 января у меня не будет дня рождения. «Будешь сидеть дома одна». А был такой мальчик, его в городе тоже знали – Зель-



Тамара и Яков Бунич. День свадьбы

дич, такой рыжий, веснушчатый, некрасивый, но очень добрый. И я говорю родителям: «Тогда я выхожу замуж за Зельдича!»

С Яшей мы стали встречаться. Он был на три года меня младше. Мой брат Шурик – боксёр, крутой парень – сказал про Яшу: «Чтобы этот шпиндик около нашего дома не появлялся!» Шурик со своей компанией встречал и лупил его. Если это было при мне, я бросалась его защищать, а Шурке дома устраивала скандал.

Пожились мы на последнем курсе: я училась в педагогическом, а Яша в сельскохозяйственном. Он потом и политехнический окончил, всю жизнь проработал на «приборке» и лекции в политехническом читал.

В этом году пять лет как Яши не стало. Я часто вспоминаю эти стихи Цветаевой, они про меня:

*Ушёл – не ем:
Пуст – хлеба вкус.
Всё мел.
За чем ни потянусь.
...Мне хлебом был,
И снегом был.
И снег не бел,
И хлеб не мил.*

Римские каникулы

Мне исполнилось 90 лет. Возраст невероятный. Большинство моих друзей и коллег давно ушли в мир иной, а те, кто ещё жив, болеют и редко выходят из дома. Мне же Господь (и родители, конечно) дают возмож-

ность без больших болячек и в здравом уме радоваться жизни. Только вот одолевает бессонница... И дело тут не только в возрасте – не дают покоя тревожные мысли. Мир снова воюет. В Россию приходят похоронки, появляются новые вдовы и сироты.

Но есть и радостные моменты. Моя внучка Марийка решила собрать близких родственников в Риме. Она оплатила наш семейный сбор, чтобы мы все встретились и побыли вместе, сильнее укрепили наши родственные узы, а главное, для того, чтобы мои правнучки ещё раз увидели живую и бодрую прабабушку...

Я их не подвела, в бесконечных экскурсиях по Риму не была обузой, а шагала и восторгалась вместе со всеми. Это счастье не могло присниться и в самом радужном сне: вместе с самыми близкими я воочию видела то, с чем раньше была знакома только по учебникам истории, кинофильмам и альбомам. Мы обошли Пантеон, Коллизей, целый день провели в Ватикане, посетили несколько римских музеев... Одна только мысль омрачала это безбрежное счастье: как жаль, что Яши нет с нами, что ничего этого он не видит...

Две недели моих римских каникул промелькнули как один день. Возвратившись домой, в Ульяновск, молю Господа об одном: вразуми человечество, чтобы в XXI веке оно стало мудрее.